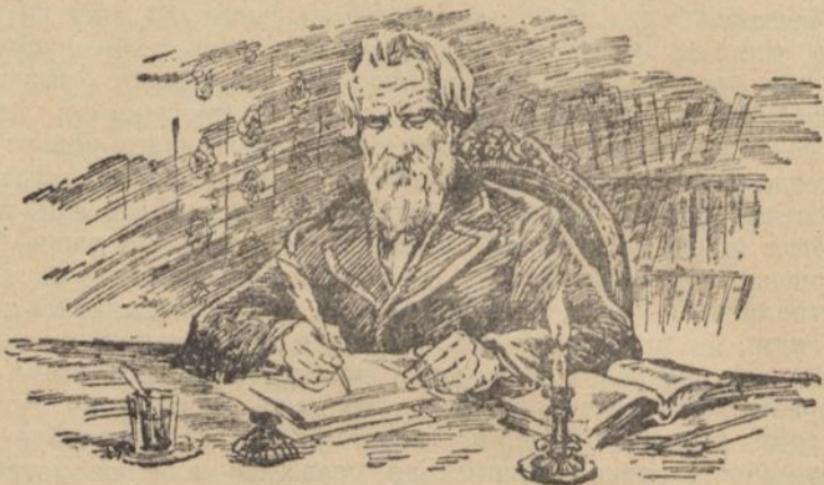


639-1
0-92



ОХОТНИЧЬИ ПРОСТОРЫ



И. Тургенев

ЗАПИСКИ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

С. А-ВА МОСКВА, 1852
(ПИСЬМО К ОДНОМУ ИЗ ИЗДАТЕЛЕЙ „СОВРЕМЕНИКА“)

Делу время и потехе час.

(Из книги, называемой: «Урядник»,
или «Новое уложение и устройство
чина Сокольничия пути»).

В течение нынешнего лета вы не однажды напоминали мне, любезный Николай Алексеевич (Некрасов), обещание мое по-говорить подробнее в вашем журнале о прекрасной книге С. Аксакова; я до нынешнего дня не мог сдержать своего слова: как настоящий охотник — охогник душою и телом — я почти все это время не выпускал ружья из рук, а до пера не касался вовсе.

Но теперь у нас зима; 2 октября ударил первый мороз, а 3 октября с утра поднялась сугговая выюга и до сих пор не прекращается; поля вдруг побелели: долго охотиться нет возможности; на дворе, говоря словами русской песни: крутит, мутит, в глаза несет; неделю тому назад я еще стрелял вальдшнепов десятками, а теперь с трудом убьешь парочку: «толкнули» их, как выражаются охотники, эти жестокие ранние холода. Всегда тяжел и невесел приход «волшебницы»-замы, но особенно печально ее появление, когда она нагрянет

так' рано, как в ~~наш~~шнем году. Осени не было у нас — осень убила она — осень со всей ее тихой красотой, с ее «пышным увяданьем»... Жутко подумать, что уже в начале октября у нас стала зима... Резко отделяясь на мертвой белизне победоносного снега, свежая, не успевшая еще уянуть, зелень берез, и в особенности тополей, кажется какой-то ложью и насмешкой. Сидя в четырех стенах своей комнаты, вспоминал я о моем обещании: я не мог охотиться, но мысли мои все еще были заняты охотой; я с жадностью взялся за перо и вот пишу для «Современника» критику «Записок оренбургского ружейного охотника» — книги, не сходившей с моего стола с самого моего приезда в деревню.

Но, говоря правду, я пишу не критику, потому что в книге г. Аксакова критиковать нечего или почти нечего. Небольшие неверности, недомолвки, промахи, попадающиеся в ней, уже все, или почти все, перечислены и замечены в восьмой книге «Москвитянина», в весьма дельной статье, подписанной буквами В. В. Эти же самые буквы встречаются в том же журнале под рядом небольших рассказов о подмосковной охоте, — рассказов, отличающихся верностию тона, безыскусственностию изложения и показывающих притом в авторе охотника страстного и опытного. Главную ошибку (о пороховой мерке) сам г. Аксаков старался исправить особым объяснением, напечатанным в «Московских ведомостях». Мы от себя прибавим только то, что «Записки оренбургского охотника» не книга вроде *Chasse au chien d'arrêt* Эльзеара Блаза, которая считается классическим сочинением для французской охоты. «Записки» г. Аксакова не охотничья книга в строгом смысле, они не могут служить полным руководством для начинающегося охотника, хотя драгоценные замечания и советы попадаются на каждой почти странице; сам автор это чувствует. Вот что он говорит в самом начале своей книги: «Я думал сначала говорить подробно в моих записках вообще о ружейной охоте, т. е. не только о стрельбе, о дичи, о ее нравах и местах жительства в Оренбургской губернии, но также о лягавых собаках, ружьях, о разных принадлежностях охоты и вообще о всей технической ее части. Теперь, принявши за это дело, я увидел, что в продолжение того времени, как я оставил ружье, техническая часть ружейной охоты далеко ушла вперед, и что я не знал ее близко и подробно в настоящем, современном положении».

Действительно, в течение двадцати пяти лет, которые про текли с тех пор, как почтенный г. Аксаков перестал охотиться, и собаки, и ружья, и ружейные принадлежности — все изменилось: французские, курляндские собаки не пользуются прежнею известностию; маркловские собаки прогремели было и пали совершенно, английские собаки пошли в гору, особенно пойнтеры кровные и полукровные; полукровные едва ли не лучше в на-

шем климате. Насчет сэттеров, которые так понравились было сперва за быстрый поиск, неутомимость и незябкость, мнения начинают разделяться. Английские ружья Мантона, Мортимера, Пордея заменили не только Моргенротов и Штарбусов, но даже Лепажей; немецкие, венские и пражские ружья совсем вышли из употребления; за ними осталось только преимущество дешевизны, при довольно прочной отделке; но если не наши тульские, то варшавские, Бекера, стоят, конечно, выше их. 25 лет тому назад еще не возникал вопрос (сознаться откровенно, для меня самого не вполне разрешенный) — вопрос о том, должно ли почитать изобретение ружей, заряжающихся сзади (а là Robert, или Lefaucheuix), шагом вперед в искусстве, или, напротив, пустой и бесплодной попыткой? Суждено ли им вытеснить ружья, заряжающиеся через дуло, или нет? Много выгод представляют ружья, а là Robert, но невыгоды много; обо всем этом вы ни слова не найдете у г. Аксакова. Э. Блаз посвятил целую главу этому вопросу. Он кончает тем, что отвергает ружья а là Robert; но граф Ланжель, автор книги: «*Hygiéne des chasseurs*», стоит за них. Далее, кто из охотников станет употреблять теперь неуклюжие, тяжеловесные патроны вместо изящных и прочных пороховиц и дробовиков Диконса и других английских мастеров; несносные пыжи — вместо чистых и щегловатых флястов! Что же касается до пистонов, то хотя автор и никогда не стрелял с ними (см. «З. Р. О.», стр. 222 — в наше время это просто кажется невероятным!), однако он отдает им полную справедливость (пороховиц и дробовиков он не признает удобными и придерживается старинного патронташа); но он ни слова не говорит и не упоминает об английских темных пистонах, о французских граненых, с буквой G (Gecoclot), которые, кроме того, что никогда не осекаются (английские, с двойным дном, даже можно перед выстрелом класть в воду), и не разлетаются, подобно австрийским, с буквами S. В. известной фабрики Sellier и Beleat или нашим доморощенным безыменным колпачкам, которые осекаются даже в сухую погоду и своими осколками то и дело наносят стрелку раны в руку или щеку. Кстати, насчет пистонниц: я долго разделял мнение многих опытных охотников о них; действительно, все придуманные до сих пор пистонницы оказывались неудовлетворительными; наконец в прошлом году появилась одна машинка английского изобретения, совершенно достигающая своей цели. Машина эта состоит из маленькой замшевой круглой сумочки на поясе, с такой же крышей, на пружине; вы отправляетесь за пистоном — крышка уступает давлению ваших пальцев и тотчас захлопывается сама, как только вы достали пистон. Это чрезвычайно удобно и очень просто, как яйцо Колумба, как паскалевая точка. Правила, предлагаемые автором для дрессировки собак, очень верны; нам приятно видеть, что даже двадцать лет тому назад г. Аксаков

не одобрял парфорсов и прочих штук и фокусов немецкой дрессировки, которая господствовала в то время. Действительно, приучите дома собаку к послушанию, к апелю, к слову: назад!, заставьте ее шутя подавать вам бумажку или перчатку (но никак не камень или даже ключ, как советует г. Аксаков) — и отправляйтесь с нею в поле: если в ней есть кровь, порода — а это главное, — ваша собака скоро поймет, чего вы от нее требуете. В нынешнем году я испытал это на деле: я в первый раз взял на охоту молодую собаку из полукровных английских (правда, дочь отличной матери), которую я сам воспитывал дома; и, несмотря на то, что она по робкости своего нрава целых шесть недель боялась звука выстрела и лишь все издали кралась за мной, — как только она решилась в один прекрасный день броситься на черныша, убитого в десяти шагах от нее, успехи ее изумили меня самого; дней через пятнадцать она уже работала как опытная собака, стояла мертвое, подавала отлично, — словом, совершенно заменила мне свою, к сожалению, стареющую мать...

Но возвратимся к книге г. Аксакова. Из всего сказанного мною следует, что техническая ее часть довольно слаба и неполна, — она, говоря высокопарным слогом, отстала от современного состояния науки; но, повторяю, сам автор не отрицает этого, и притом техническая часть его записок заключается всего в 34 страницах, за которые любители охоты все-таки должны быть благодарны г. Аксакову, особенно за отличные советы насчет стрельбы, на стр. 31, 32, 33. Его первое правило: «Никогда не думать о том, что дашь промах» напоминает мне поговорку одного старого московского охотника, давно уже умершего, Л. И. Татаринова, которого я знал в ранней молодости: «Стрелки, — говорил он, — разделяются на три класса: бывают между ними ахалы, пукалы и шлепалы. Ахалы только ахают, когда вскакивает дичь; пукалы стреляют и не попадают; шлепалы стреляют и попадают. Из пукалы может еще выйти шлепал; из ахалы — никогда».

За этими 34 страницами вступления начинается собственно книга.

И что за прелест эта книга! сколько в ней свежести, грации, наблюдательности, понимания и любви природы!.. Но я замечаю, что вдаюсь в восхищения, а в критике это, говорят, не годится. Стану рассуждать обстоятельно.

Книгу г. Аксакова можно рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения охотника и с точки зрения естествоиспытателя. Начну с первой.

Я уверен, что всякий охотник, которому придется прочесть «Записки» г. Аксакова, будет в особенности привлечен и тронут искренней и горячей любовью автора к своему делу — к благородному занятию охотой — добросовестностью его страсти. Мне скажут, что, в сущности, охота пустячки, «мгновен-

ная» забава, и не заслуживает таких сильных выражений; но, кроме того, что, по моему мнению, без искренней преданности своему делу даже пустяки никому не удаются, я мог бы привести поразительные доказательства тому, что охота в человеческой жизни, в истории человечества занимает не последнее место. Всем известно, что значило право охоты в европейском мире не только в течение средних веков, но даже до позднейших времен (отмена законов, касающихся до дичи — составляла одно из важнейших преобразований, произведенных графом Греем только в 31 году), и потому я не стану настаивать — на постановления Генриха IV, на то, сколько замечательных людей были страшными охотниками, и т. д.— замечу только, что охоту по справедливости должно почесть одним из главнейших занятий человека. Не говоря уже о библейском Немироде и других азиатских царях-охотниках, изображения которых сохранились на остатках древнейших дворцов и храмов, стоит вспомнить то место в 11 песне «Одиссеи», где Улисс в числе теней старинных героев, вызванных им, по совету Цирцеи, из Аида, видит мифического великана Ориона:

Подле него (Миноса) и Ориона чудовищного увидел я:

Толпы диких зверей гнал он перед собою,

Которых сам он некогда убил на пустынных горных
вершинах...

Палицу держал он в руках из несокрушимого железа.

И русские люди с незапамятных времен любили охоту. Это подтверждают наши сказания, все предания наши. Да и где же и охотиться, как не у нас: кажется, есть где и есть по чем. Витязи времен Владимира стреляли белых лебедей и серых уток на заповедных лугах. Мономах в завещании своем оставил нам описание своих битв с турами и медведями; достойный отец великого своего сына, один из мудрейших русских царей, Алексей Михайлович, страстно любил охоту. Все слышали об его «Уряднике», или «Новом уложении и устроении чина Сокольничия пути»; менее известны его письма к одному из бояр своих, сообщенные Археографической комиссией. В них царь рассказывает ему свои «выезды». Вообще, охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить, в одних лаптишках, по болотам да по лесам с утра до вечера. И не думайте, чтобы он стрелял из него одних уток: с этим же ружьем пойдет он караулить медведя на «ковсах», вобьет в дуло не пулю, а самодельный, кой-как сколоченный жеребий — и убьет медведя; а не убьет, так даст медведю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровеет, опять пойдет на того же медведя с тем же ружьем. Правда, случится иногда, что медведь его опять поломает; но ведь русским же человеком сложена пословица, что зверя бояться — в лес неходить. Этой общей, повсюду распространенной страсти

русского — страсти, сокровеннейшие корни которой быть может, следует искать в самом его полуосточном происхождении и первоначальных кочующих привычках,— как нельзя более соответствует книга г. Аксакова: она дышит ею, проникнута ей вся. Я сам не бывал в Оренбургской губернии, но я рад, что г. Аксаков именно там охотился — в этих величавых изобилующих дичью степях, так прекрасно им описанных, они-то, мне кажется, и придали его страсти увлекательную искренность и силу, и кисти его — свободу и ширину.

Теперь мне следует, по обещанию, сказать несколько слов о том, как будут взирать естествоиспытатели на сочинение г. Аксакова. Сам я, вы знаете, не имею чести принадлежать к их сословию; но я страстно люблю природу, особенно в живых ее проявлениях, и потому позволю сказать себе несколько слов о «Записках ружейного охотника» и с этой точки зрения. Человека не может не занимать природа, он связан с ней тысячью неразрывных нитей: он сын ее, сочувствие, которое возбуждает в душе жизнь существ низших, столь похожих на человека своим внешним видом, внутренним устройством, органами чувств и ощущений, несколько напоминает тот живой интерес, который каждый из нас принимает в развитии младенца. Все мы, точно, любим природу, — по крайней мере, никто не может сказать, что он ее положительно не любит; но и в этой любви часто бывает много эгоизма. А именно: мы любим природу в отношении к нам: мы глядим на нее, как на пьедестал наш. Оттого, между прочим, в так называемых описаниях природы то и дело либо попадаются сравнения с человеческими душевными движениями («и весь невредимый хохочет утес» и т. п.), либо простая и ясная передача внешних явлений заменяется рассужданиями по их поводу.

Между тем такого рода воззрения совершенно несогласны с истинным смыслом природы, с ее основным направлением. Бесспорно, вся она составляет одно великое, стройное целое — каждая точка в ней соединена со всеми другими, — но стремление ее в то же время идет к тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдельная единица в ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя средоточием вселенной, обращала бы все окружающее себе в пользу, отрицала бы его независимость, завладела бы им как своим достоянием. Для комара, который сосет вашу кровь, — вы пища, и он так же спокойно и беззазорно пользуется вами, как паук, которому он попался в сети, — им самим, как корень, роющийся во тьме, — земляной влагой. Обратите в течение нескольких мгновений ваше внимание на муху, свободно перелетающую с вашего носа на кусок сахара, на каплю меда в сердце цветка, — и вы поймете, что я хочу сказать — вы поймете, что она решительно на столько же сама по себе — на сколько вы сами по себе. Как из этого разъединения и раздробления, в котором, кажется, все живет только для

себя, — как выходит именно та общая, бесконечная гармония, в которой, напротив, все, что существует, — существует для другого, в другом только достигает своего применения или разрешения — и все жизни сливаются в одну мировую жизнь — это одна из тех «открытых» тайн, которые мы все и видим и не видим. Говорить об этом заманчиво, но оно повело бы меня слишком далеко; я удовольствуюсь тем, что напомню вам известные страницы Гёте о природе и приведу два, три слова, им сказанные:

«Природа проводит бездны между всеми существами, и все они стремятся поглотить друг друга. Она все разъединяет, чтобы все соединить...»

«Ее венец — любовь. Только через любовь можно к ней приблизиться...»

«Кажется, она только и хлопочет о том, чтобы создавать личности — и личности ей ничего не значат. Она беспрестанно строит и беспрестанно разрушает...»

«Если только «через любовь» можно приблизиться к природе, то эта любовь должна быть бескорыстна, как всякое истинное чувство: любите природу не в силу того, что она значит в отношении к вам, человеку, а в силу того, что она вам сама по себе мила и дорога,— и вы ее поймете».

Возвращаясь к книге г. Аксакова, не могу не отдать ему должной справедливости: он смотрит на природу (одушевленную и неодушевленную) не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а так, как на нее смотреть должно, ясно, просто и с полным участием; он не мудрит, не хитрит, не подкладывает ей посторонних намерений и целей: он наблюдает умно, добросовестно и тонко; он только хочет узнать, увидеть. А перед таким взором природа раскрывается и дает ему «заглянуть» в себя. Оттого вы будете смеяться, но я вас уверяю, что, когда я прочел, например, статью о тетереве, мне, право, показалось, что лучше тетерёва жить невозможно...

Автор перенес в изображение этой птицы ту саму законченность, ту окружленность каждой отдельной жизни, о которой мы говорили выше, и т. д. и т. д. Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в том уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал нам г. Аксаков. То же самое должно сказать о гусе, утке, вальдшнепе,— словом, обо всех птичьих породах с которыми он нас знакомит. Немцы считают гуся, эту обдуманную, осторожную птицу, — глупым; русский человек, напротив, заметил, что даже гром обращает на себя внимание гуся; действительно, при каждом ударе он, скривив голову, смотрит в небо. Правда, он от этого нисколько не становится умнее, но эту участь он разделяет со многими философами. Говоря без шуток, я не могу довольно налюбоваться птичьими «физиологиями» г. Аксакова. Я вовсе не намерен сравнивать его с Бюффоном и не дерзаю отрицать великих заслуг «отца естественной исто-

рии», но я должен сознаться, что такие блестящие риторические описания, каково, например, всем нам с детства известное описание коня: «Конь самое благородное завоевание человека» и т. д. в сущности очень мало знакомят нас с теми животными, которым они посвящены. Мне, право, кажется, что такого рода красноречивые разрисовки представляют гораздо меньше затруднений, чем настоящие, теплые и живые описания; точно также, как несравненно легче, что он «хочет», молния — что она «фосфорическая змея», чем поэтически ясно передать нам величавость утеса над морем, спокойную громадность гор или резкую вспышку молний... И оно понятно: ничего не может быть труднее человеку, как отделиться от самого себя и вдуматься в явления природы... Гремите, не сходя с места, всеми громами риторики: вам большого труда это не будет стоить; попробуйте понять и выразить, что происходит хотя бы в птице, которая смолкает перед дождем, и вы увидете, как это нелегко.

В силу всех вышеизложенных причин я воображаю, что всякий естествоиспытатель с истинным наслаждением перечтет книгу г. Аксакова. Покойный Одюбон пришел бы, я думаю, от нее в умиление. Знаете ли вы, например, что одной из самых великих трудностей в естественной истории почитаются верные изображения наружного вида и цвета птиц? Посмотрите, как они все удались г. Аксакову. Я тем более уверен в успехе «Записок ружейного охотника» между естествоиспытателями, что наука у них в последнее время приняла направление более положительное и практическое, или, говоря точнее, направление, обращенное более на живое наблюдение и изучение природы, чем на составление тех иногда поэтических и глубоких, но почти всегда темных и неопределенных гипотез, которыми Шеллинг вскружил головы в начале нынешнего столетия.

Скажу еще несколько слов о слоге «Записок» г. Аксакова. Слог его мне чрезвычайно нравится. Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого — свобода и точность выражения одинаково замечательны. Эта книга написана охотно и охотно читается. Я уже неоднократно замечал, как мастерски умеет г. Аксаков описывать, (некоторые отрывки были помещены в апрельской книжке «Современника»). Теперь мне хочется обратить ваше внимание на следующее обстоятельство: бывают тонко развитые, нервические, раздражительно-поэтические личности, которые обладают каким-то особенным взорвиением на природу, особым чутьем ее красот; они подмечают многие оттенки, многие часто почти неприметные частности, и им удается выразить их иногда чрезвычайно счастливо, метко и грациозно; правда, большие линии картины от них либо ускользают, либо они не имеют довольно силы, чтобы схватить и удержать их. Про них можно сказать, что им более всего доступен запах красоты и слова их душисты. Част-

ности у них выигрывают за счет общего впечатления. К подобным личностям не принадлежит г. Аксаков, и я очень этому рад. Он и тут не хитрит, он не подмечает ничего необыкновенного, ничего такого, до чего добираются «немногие»; но то, что он видит, видит он ясно, и твердой рукой, сильной кистью пишет стройную и широкую картину. Мне кажется, что такого рода описания ближе к делу и вернее: в самой природе нет ничего ухитренного и мудреного, она никогда ничем не щеголяет, не кокетничает; в самых своих прихотях она добродушна. Все поэты с искренними и сильными талантами не становились в «позитуру» перед лицом природы; они не старались, как говорится, «подслушать, подсмотреть» ее тайны; великими и простыми словами передавали они ее простор и величие: она не раздражала их, она воспламеняла; но в этом пламени не было ничего болезненного. Вспомните описания Пушкина, Гоголя или хотя то знаменитое место в «Короле Лире», где Эдгар описывает слепому Глостеру кругой морской берег, который будто падает отвесно у самых его ног:

Подойдите, сэр... Вот то место. Остановитесь. Как
страшно!
Как кружится голова! Так низко ронять свои взоры...
Галки и вороны, которые вьются там в воздухе на
средине расстояния,
Кажутся едва ли так велики, как мухи. На полпути
вниз
Висит человек, собирающий морские травы.. ужасное
ремесло!
Он мне кажется не большие своей головы.
Рыбаки, которые ходят по прибрежью,
Точно мыши; а тот высокий корабль на якоре
Уменьшился до размера лодки; его лодка —
плавающая точка,
Как бы слишком малая для зрения.. Шумный прибой,
Который кипит и ропщет на бесчисленных каменьях,—
Здесь его не слышно.. слишком высоко.. Я больше
глядеть не стану.

Всего две-три черты; поэт не желает ни сказать что-нибудь необыкновенное, ни найти в картине, которая является его глазам, особенных, не подмеченных еще черт; с верным инстинктом гения придерживается он одного главного ощущения — ощущения высоты, с которой глядит Эдгар, и уменьшения всех предметов, — и между тем, возможно ли еще что-нибудь прибавить? Древние греки так же просто взирали на природу; можно бы привести множество доказательств тому... Впрочем, они имели перед нами преимущество великое: в их счастливых устах поэзия впервые заговорила звучным сладким языком о человеке и природе. (Признаюсь, я не умею сочувствовать литераторам, предшествовавшим греческой). Оттого ничего не может сравниться с бессмертной молодостью, с свежестью и силой первых впечатлений, которыми веет нам от песней Гомера. Я сейчас

упомянул о Пушкине: отношения этого, по духу своему, действительно древнего поэта к природе так же прости, естественны, как у древних, и, при всей смелости поэтических образов, совершенно здравы. Кто не знает его «Тучи»? Не откажу себе в удовольствии выписать все это стихотворение:

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный гром,
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась.
Земля освежилась и буря промчалась.
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Удивительно!.. Словом, описывая явления природы, дело в том, чтобы сказать все, что может прийти вам в голову: говорите то, что должно прийти каждому в голову — но так, чтобы ваше изображение было равносильно тому, что вы изображаете, и ни вам, ни нам, слушателям, не останется больше ничего жела-
тъ.

Но наше удивленное сочувствие к таким образам, к таким звукам не должно сделать нас несправедливыми к тем полужен-
ским поэтическим личностям, о которых я упомянул выше, и счастливые, вкрадчивые стихи Тютчева или Фета найдут отголосок в нашем сердце. Я хотел только сказать, что г. Аксаков пошел не по дороге, и, повторяю, его манера как нельзя более идет к добродушно-умному, ясному и мужественному тону всей книги.

Письмо мое вышло довольно длинно, а между тем, сколько мне бы хотелось еще сказать вам: сообщить собственные наблюдения, поговорить о так называемых охотничьих «удачах и неуда-
чах», об охотничьих суевериях, преданиях и поверьях. Но я боюсь утомить и ваше внимание и внимание читателя. Отложу все это до другого письма, которое вы получите вскоре. Ограни-
чусь теперь желанием, чтобы охота, эта забава, которая сбли-
жает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью, придает телу нашему здоровье и силу, а духу — бодрость и свежесть, — эта забава, которой тешились и наши прадеды на берегах широких русских рек, и герой народных баллад, стрелок Робин Гуд, в веселых, зеленых дубовых рощах старой Англии, и много добрых людей на всем земном шаре, долго бы еще процветала в нашей родине! Вол-
шебный рог Оберона не перестанет звучать для «имеющих ухо», и Вебер — не последний великий музыкант, которого вдохновит поэзия охоты! Я сейчас сказал, что охота сближает нас с при-
родой: один охотник видит ее во всякое время дня и ночи, во

всех ее красотах, во всех ее ужасах. Скажем искреннее спасибо г. Аксакову за его книгу и пожелаем, чтоб другие пошли по его следам и рассказали нам все те многоразличные роды охоты, до которых он не коснулся. Кончая словами «Урядника» Алексея Михайловича: «Паче же почитайте сию книгу, красныя и славныя охоты, прилежные и премудрые охотники, да многие вещи добрые и разумные узрите и разумеете. Аще с разумом прочтете, найдете всякого утешного добра...» и еще: «Будьте охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, дело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручиньи и печали всякие».

P. S. Я слышал, что «Записок ружейного охотника» готовится другое издание — успех их предупредил мои похвалы; тем лучше!

Село Спасское
Октябрь-ноябрь 1852 г.



